

Борис Максимов

«Сровнять с землей логово драконье»:

ГЕНРИХ ФОН КЛЕЙСТ О МЕХАНИКЕ
СТИХИЙНОГО НАСИЛИЯ

Boris Maximov

"To Wipe the Dragon's Den off the Face of the Earth":
Heinrich von Kleist on the Dynamics of Spontaneous Violence

Борис Максимов (МГУ им. М.В. Ломоносова, старший научный сотрудник кафедры зарубежной журналистики и литературы факультета журналистики; кандидат филологических наук) esprit25@rambler.ru.

Boris Maximov (PhD; Senior Fellow of the Department for Foreign Journalism and Literature of the Faculty of Journalism, Moscow State University) esprit25@rambler.ru.

Ключевые слова: Клейст, насилие, сакральное, исторжение, регресс

Key words: Kleist, violence, the Sacred, exclusion, regression

УДК: 821.112.2+82.32

DOI: 10.53953/08696365_2023_179_1_272

UDC: 821.112.2+82.32

DOI: 10.53953/08696365_2023_179_1_272

В статье суммируются представления Генриха фон Клейста — одного из самых «жестоких» романтиков, общепризнанного *enfant terrible* романтической эпохи — о предпосылках, катализаторах и формах стихийного насилия. Клейст связывал спорадические «волны» насилия с переменами, совершившимися на исходе Нового времени, когда непосредственную, личностно окрашенную связь с божеством постепенно заместил абстрактный, универсальный закон. Итогом этого процесса стала профанация сакрального, порождающая аксиологическую двусмысленность (нечестивое божество, нечистая праведница, зараженная святыня) и тем самым провоцирующая кризис веры и идентичности. Герои Клейста жаждут — и не могут верить, их ярость вырастает из смятения. Конечная цель агрессии состоит, по Клейсту, не в том, чтобы устранить ситуативного оппонента или нанести обидчику «симметричный» урон. Восставшие стигматизируют и увечат — отталкивают, низвергают, марают, расчлняют — «ложных» кумиров, дабы освободиться от их гипнотической власти и очистить, обновить собственную веру. Поэтому насильственные эксцессы выглядят избыточными лишь в прагматическом, но не в символическом плане. Путь стихийного насилия соблазняет героев Клейста своей краткостью и прямоотой, он ликвидирует двойственность и останавливает эротию веры, однако единство достигается в этом случае ценой рестрикции и регресса. С другой стороны, стихийный взрыв сметает посредников (институты, конвенции, накопленные знания), предоставляя людям шанс возродить живую веру и восстановить связь с сакральным.

This article summarizes the ideas of Heinrich von Kleist — one of the most “brutal” of the romantic authors, commonly seen as an *enfant terrible* of the Romantic age — about the prerequisites and catalysts for and forms of spontaneous violence. Kleist linked sporadic “waves” of violence with changes that occurred at the end of the early modern era, when a direct, personal connection with a deity was gradually replaced by an abstract, universal law. As a result of this process, the profanation of the sacred occurred, which gave rise to an axiological ambiguity (unholy deities, impious saints, impure shrines), thereby provoking a crisis of faith and identity. Kleist’s characters thirst — and they cannot believe; their rages derives from their confusion. According to Kleist, the end goal of aggression is not to eliminate a situational opponent or inflict “symmetrical” damage on the offender. Rebels stigmatize and mutilate — repulse, overthrow, tarnish, dismember — “false” idols in order to release themselves from their hypnotic power and to purify and revive their own faith. Therefore, violent excesses appear superfluous from a pragmatic point of view, but not from a symbolic one. The path of primitive violence attracts Kleist’s characters because of its brevity and directness; it eliminates duality and stops the erosion of faith, but here integrity is restored at the cost of restriction and regression. On the other hand, violent outbursts sweep away any intermediary (institutions, conventions, accumulated knowledge) and thus presenting people with a chance to restore a lively faith and reestablish a connection to the sacred.

На закате галантного века литература и живопись заново открыли для себя физическое насилие как законный предмет изображения. Интерес, наметившийся уже у штюрмеров, де Сада, Льюиса, Фюзли, Пиранези, обострился в романтическую эпоху. Романтиков привлекают физические эксцессы — манифестации насилия в буквальном, не расширительном смысле этого слова — а именно *форсированные акты трансгрессии, нарушающие целостность чужого и одушевленного (главным образом человеческого) тела*. Подчас кажется, что от классической традиции, табуировавшей истязание плоти (и в особенности разъятое, разомкнутое тело)¹, романтики вернулись к барочно-маньеристской «кровожадности». Однако стоит учесть и аксиологические сдвиги, которые свершились за двести с лишним лет. К началу XIX века истерзанное тело не воспринимают более как атрибут полнокровной жизни: современный человек не может с равным удовольствием любоваться отсеченными головами Голиафа, Олоферна, Иоанна Крестителя, Горгоны, аутопсиями в медицинских коллегиях и — взрезанными и гниющими фруктами, скрюченной и выпотрошенной дичью. Виной тому радикально изменившийся исторический контекст: к концу эпохи Просвещения «дисциплинирующие» (в терминах Фуко) управленческие практики в странах Центральной и Северной Европы вытесняют «суверенную» политику, которая уповала на публичное устрашение. В рубежные десятилетия (немцы именуют их *Sattelzeit*) заметно снижается терпимость общества к насилию. О гуманизации европейского сознания позволяют судить законодательные и институциональные реформы — запрещение пыток (формализованное, например, в Пруссии при жизни Клейста, в 1805 году), постепенный отказ от практики публичных казней (в Германии с этой архаической традицией боролся ненавидимый Клейстом Наполеон), череда государственных запретов трансатлантической работорговли (катализатором этих законов и, кстати, сюжетной канвой для клейстовского «Обручения на Сан-Доминго» послужили гаитянские восстания), гуманизация пенитенциарных учреждений, проблематизация и ограничение телесных наказаний и, наконец, обуздание бытовой преступности (кривая бытовых убийств в развитых европейских странах последовательно снижалась, достигнув к началу XIX века современных, беспрецедентно низких показателей)². Соответственно, на новом витке истории все труднее становится воспринимать физическое насилие как норму³: теперь в нем видят аномалию, патологию, хотя и весьма распространенную.

В ряду романтиков, исследовавших механизмы и формы физического насилия — в первую очередь не институционализированного, стихийного — почетное лидерство несомненно принадлежит Генриху фон Клейсту. По концентрации «жестокостей» в своих творениях он превосходит Гойю, Жерико и Делакруа, Мериме и Гюго, Лермонтова и По. Брутальность клейстовской про-

1 Подробнее о контрасте между классическим идеальным телом (в эстетике Винкельмана, Лессинга, Гердера) — гладким, целостным, сугубо поверхностным — и пониманием телесности у Клейста см.: [Krueger-Fuerhoff 2001: 174–175].

2 См.: [Heitmeyer, Nagan 2002: 63, 66].

3 Социально-политические предпосылки гуманизации сознания убедительно описали Н. Элиас и П. Шпиренбург. По Элиасу, государственная монополия на насилие привела к формированию относительно безопасных зон, в которых статус повышает не силовое превосходство, а образование, хорошие манеры и коммерческий успех. В новых условиях вырабатывается тип человека с повышенным самоконтролем и коммуникативной гибкостью (см.: [Heitmeyer, Nagan 2002: 71]).

зы и особенно драматургии шокировала его современников. По известному замечанию Гёте, выразившего общепринятые взгляды, Клейста вдохновляли процессы стихийного разрушения: «Есть нечто неприглядное в природе [его таланта], нечто пугающее, чем не может заниматься и с чем не может примириться поэзия, даже при самой искусной обработке материала» [Goethe 1889: 294]. Полтора века спустя Криста Вольф констатировала, что творчество Клейста заставляет содрогнуться даже современного, привычного к изображениям жестокости читателя⁴. С культурологической точки зрения Клейст примечателен тем, что он заложил фундамент романтической «морфологии» насилия, на который впоследствии опирались и неоромантики/символисты, и экспрессионисты. Больше того: многие идеи Клейста предвосхищают позднейшие академические теории насилия (психоаналитические, биологические, феноменологические и социологические) и даже позволяют, на мой взгляд, внести в них определенные коррективы. Не удивительно, что в германо- и англоязычной критике за последние десятилетия заметно выросло число работ, исследующих различные аспекты физического насилия в творчестве Клейста. Полагаю, сегодня уже настало «время собирать камни» — интегрировать локальные наблюдения в обобщенную связную картину.

Для начала заметим, что Клейст не использовал *классические* мотивировки (физического) насилия, которые по большому счету сводятся к конкурентной борьбе за благо, равно значимое для соперников. По мысли Клейста, насильственные эксцессы всегда имеют *символическую, религиозную* подоплеку. Иначе говоря, вспышку неконтролируемой ярости порождает не конфликт интересов и не ущемление прав как таковое, а спровоцированный внешними обстоятельствами *кризис веры*. Почва для него была подготовлена в XVIII веке процессами секуляризации и деперсонализации власти. На исходе Нового времени прямую связь «паствы» с «божеством» (в лице патриарха, правителя и даже духовного наставника) опосредуют и затрудняют бюрократизированные, обезличенные институты; физический, адресный контакт и прецедентные отношения с обожествляемым «авторитетом» постепенно замещает абстрактный, универсальный закон⁵. Симптомы отдаления и отчуждения просматриваются уже в сохранившихся сценах из юношеской трагедии Клейста «Роберт Гискар». В норманском лагере на место патриархальных отношений старого герцога с народом («он любит руку, / Играющую гривую его» [Клейст 1969: 35]⁶) приходит формализованная и опосредованная связь: делегатов встречает не герцог самолично, а его дочь, вдовствующая императрица, требующая соблюдать «тишину» и «лагерный уклад», затем сын Гискара, которого «бросает в дрожь от близости [простолудинов]», в приказном порядке устанавливает приемные часы («Явитесь завтра. Нынче, может быть, / В обед, пожалуй, если будет время...», с. 37) и навязывает ходакам свое посредничество. Тот же исторический сдвиг определяет движение сюжета в «Кольхаасе»: если прежний владелец замка, «почтенный старик», «радовался проезжему люду», то новый хозяин, Венцель фон Тронка, ставит шлагбаум, отказывает в доверии человеку

4 См.: [Burdorf 1998: 238].

5 Как справедливо заметил применительно к «Найденышу» и «Семейству Шроффенштейн» В. Мюллер-Зайдель, именно абсолютизация нормативного права заставляет героев Клейста вернуться к дозаконному обычаю мести [Müller-Seidel 1985: 29].

6 Далее ссылки на это издание даются в круглых скобках с указанием номера страницы.

известному и почтенному, требует от него «документ» (который, в свою очередь, на время замещается товаром). Собственно, вся предыстория бунта в «Кольхаасе» представляет собой череду пагубных опосредований, субституций и коммуникационных сбоев⁷ между гражданином и высшей властью — земной и божественной, ибо Кольхаас, как и Лютер, привык видеть в земном правлении манифестацию божественной воли. В Гейзуме мы также застаем переход от патриархальной, лично окрашенной связи между деревенским «божком» и паствой к формализованным, институциональным отношениям (сам судья Адам колеблется между двумя форматами делопроизводства — «процесс / С формальностями, или, может, так, / Как в Гейзуме заведено, направить?»), с. 74), сходную динамику Клейст отобразил в «Принце Гомбургском» (бранденбургский курфюрст *еще* воспринимается как отец, но *уже* действует и аргументирует как чиновник) и в «Найденыше», где, как давно заметили исследователи, кровные и эмоциональные связи в семье последовательно замещаются функциональными⁸. Едва ли Клейсту, кантианцу, которого его приятель Фуке метко прозвал «юридическим поэтом», была ненавистна идея законности, и едва ли его соблазняла перспектива вернуться к жизни «по понятиям» (по крайней мере, сопоставление архаических и новых, просвещенных управленцев — Адама и Вальтера, курфюрста саксонского и курфюрста бранденбургского говорит в пользу последних⁹). Однако он отдавал себе отчет в том, что секуляризованный мир, где прямое, личное обращение к Отцу стало невозможным, где божественный завет, как показано в «Поединке», нуждается в кропотливой интерпретации¹⁰ — такой мир приводит богобоязненного человека в растерянность, из которой рождается отчаяние, а после — ярость¹¹.

Разумеется, для стихийного взрыва недостаточно общих предпосылок, требуется непосредственный повод, триггер, преобразующий смятение — в гнев. И повести, и драмы Клейста организованы новеллистически — в них отчетливо прослеживается *Wendepunkt*, поворотное событие или пара сцепленных друг с другом событий, которые провоцируют взрывную волну. Как правило, речь идет о *злоупотреблении доверием или освященным верой авторитетом*: наместник бога, священная особа, инструментализует для личных — прагматических, мирских — целей то, что имело абсолютную, всеобщую и сим-

-
- 7 К насилию герои Клейста прибегают обыкновенно после того, как срывается попытка вербальной коммуникации, об этом пишут Г. Артцен, Э. Стивенс и И. Лу (см.: [Vreuer 2013: 325]).
 - 8 В первую очередь экономическими; на этом сходятся многие исследователи — А. Собоцзински [Soboczynski 2000: 120—124], Х.Ю. Ким [Kim 2013: 336], К. Никерк [Niekkerk 2002: 109], М. Бергер [Berger 2008: 259].
 - 9 Хотя и здесь Клейст не выносит однозначной оценки. Дифференцированность и непредвзятость клейстовского взгляда проявляется, как убедительно показал В. Торварт, в противопоставлении старого и нового чиновничества (Адама и Вальтера): на одном фланге — пристрастный, эгоистичный, чувственный и телесный, ярко индивидуальный тиран, на другом — справедливый, гуманный, цивилизованный, но обезличенный бюрократ [Thorwart 2004: 217—235].
 - 10 По выражению В. Мюллер-Зайделя, «в художественном мире Клейста героям не ведомо, как мыслит, судит и карает бог. Им не дается однозначного ответа, на который они надеялись» [Müller-Seidel 1985: 22].
 - 11 Согласно формуле Ханны Арендт, «чем больше бюрократизация общественной жизни, тем больше привлекательность насилия» [Арендт 2014: 94].

волическую ценность. Под удар попадают культовые объекты, святыни — будь то священные дубы Одина, срубленные римскими легионерами, или старинный кувшин с хроникой голландской государственности, разбитый Адамом, или лавровый венок, который отбирает у принца курфюрст Бранденбургский, или королевский венец с инициалом Амфитриона, подмененный Юпитером. Жертвами посягательств становятся весталки Нового времени, воплощающие в глазах сограждан праведность и чистоту, — Алкмена, Джульетта, Лизбет, Литтегарда, Эльвира, Кэтхен, а также Ева, Туснельда, Халли. Сравнительно с просветителями Клейст ставит во главу угла не ущемление гражданских прав, а поругание святынь, акт святотатства. Этот проступок, вполне естественный для элиты в эпоху секуляризации и деперсонализации связей, имеет двойную разрушительную силу. С одной стороны, Вседержитель во всех его ипостасях — патриарха, правителя, судьи, воина-триумфатора — традиционно выступал камертоном и гарантом групповой идентичности: в этом заключается, по Клейсту, его священная миссия. Акт *святотатства* дискредитирует его сильнее, чем самые вопиющие имущественные, правовые злоупотребления и преступления против морали (столь значимые для просветителей), ибо святыню может повредить или осквернить лишь тот, кто утратил ощущение нутряной, типологической *связи* со своим народом. С другой стороны, под сомнение ставится сакральность (чистота) оскверненной святыни или обесчещенной праведницы, которая не может оправдать свое бессилие в глазах окружающих (обморок и немота — удел непорочных женщин, подвергшихся поруганию, — Литтегарды, Эльвиры, Евы, Алкмены, Джульетты, Халли).

Раньше многих своих современников Клейст осознал, что неконтролируемая вспышка ярости являет собой *защитную реакцию* — *результат крайнего смятения*, что «образец достойного гражданина» (так читателю был аттестован Кольхаас) склоняется к рискованным и радикальным действиям тогда, когда у него почва уходит из-под ног. Добропорядочным героям Клейста предстает двусмысленная, невыносимая для религиозного сознания¹² картина, подлинный оксюморон — они видят *нечестивое* божество, зараженную, *нечистую* святыню. Чтобы признать его истинным, потребовалась бы капитальная переоценка ценностей, мучительная внутренняя перестройка. Возможно, оригинал вроде Дюпена или Холмса сумел бы, отстранившись и взглянув на яблоко раздора с философской дистанции, переменить сами шаблоны восприятия и мышления — расширить, как рекомендует знаменитый танцовщик Ц. из клейстовского «Театра марионеток», сознание «до бесконечности», преодолеть современное отчуждение от сакрального источника («рай заперт, и херувим за нами следит» [Клейст 1977: 515]) новым актом познания. В обновленной картине мира парадокс утратил бы свою экзистенциальную остроту. Однако романтики — и Клейст, и Гофман, и Гоголь, и По — в отличие от многих просветителей никогда не забывали об инертности человеческой психики. Их героям обыкновенно не хватает ни пространства, ни времени для гносеологиче-

12 Так, Хосефа, являющая собой одновременно падшую женщину и чудесно спасающуюся [Бого]матерь, по мнению Э. Льюис и М. Гелус, дестабилизирует «системы социальной дифференциации» [Lewis 2000: 213]. Приведу также характерную реплику К. Брорс о «Кольхаасе»: «непростительным прегрешением юнкера» она считала то, что «своей недостойной слабостью он подрывает систему ценностей Кольхааса и толкает его в бездну экзистенциального разочарования» [Brogs 2002: 169].

ских экспериментов — они целиком погружены в событийный поток, они дезориентированы и имеют основания опасаться за свою физическую и психическую идентичность¹³. Отсюда их паника при столкновении с *двусмысленным, парадоксальным фактом*. Когда один из норманских воинов, опираясь на показания охранника, стоявшего на посту у гискаровой палатки, решает предположить, что неуязвимый, «боготворимый князь» Роберт Гискар все-таки заразился чумой, — старейшина зажимает ему рот («О, лучше онемей»), а постовой «после паузы, полной ужаса» (с. 33), снимает с себя ответственность за этот вывод. И вправду — легко ли постичь и стерпеть аксиологическую дилемму? Что должны думать отец, на глазах у которого рыцарь, блистательный, как херувим, «извратил природу чистейшего на всем свете сердца» (с. 256), или мать, чья добродетельная, безупречная доселе дочка, по-видимому, «оказалась способной... сочинить сказку, противоречащую всем законам природы, и нагромождать кощунственные клятвы» (с. 530), или мужчина, которого в сокровенный, блаженный миг, «среди ласк и нежностей» (с. 572), холодно предает его любовница? Приятие, и даже допущение такой — насквозь антиномичной — реальности, по выражению Теобальда, поколебало бы «гранитные устои, что подпирают вечный храм природы», повергнув мир «в ничто, в первоначальный хаос» (с. 269). Нет ничего сверхъестественного, утверждает Клейст, в том, что добропорядочные граждане, теряя почву под ногами, прибегают к насилию. В самом деле, немедленно остановить эрозию и вернуть пошатнувшуюся веру может только *форсированный деструктивный акт*. *Форсированный* — поскольку паника не способствует размышлению и взвешиванию альтернатив: в экстремальных условиях мы склоняемся к мобилизации сил и прямому действию. *Деструктивный* — поскольку, устранив раздражитель, мы незамедлительно восстанавливаем душевное равновесие.

Вербальная прелюдия

Разумеется, психически здоровому человеку не свойственно ранить, истязать, убивать себе подобного, особых усилий ему будет стоить нападение на тех, кто в его глазах был причастен святости, — на патриарха, служительницу культа, невинного ребенка. Даже при наличии субъективных причин прямая агрессия требует некоей увертюры, которая увеличивает дистанцию между сторонами. У Клейста вспышку гнева предваряет ментальная и вербальная демонизация будущей жертвы. Когда Кольхаас объявляет в своем декрете малодушного и хилого юнкера «заклятым врагом всего христианства», когда Теобальд видит в рыцаре фом Штраль, а Амфитрион — в Юпитере «исчадь мрака, адский дух», когда Рупрехт обзывает судью Адама хромым чертом, когда старый каноник предает души Хосефы и Херонимо «всем князьям преисподней», а немецкий кузнец заклинает соплеменников «сровнять с землю логово драконье» (то есть Рим), — тогда они ступают на путь десакрализации прежних святых.

13 О нестабильности личностного «я» у героев Клейста, их зависимости от социальных взаимосвязей и постоянной угрозе расщепления идентичности подробно писал Дж.Б. Лайон [Lyon 2006]. Ср. также рассуждения К. Турнер о «диссоциации субъекта» в клейстовских драмах и повестях, которая внешне проявляется в диссонирующих с речью (и волей!) моторных реакциях [Thurner 2007: 197, 200].

Сначала *меняется знак* в привычной системе координат — и блистательный русский граф Ф., казавшийся маркизе «ангелом, ниспосланным с небес», превращается в «дьявола», такую же инверсию претерпевает Юпитер/Амфитрион в глазах Алкмены: тот, кто «богом показался» ей в день военного триумфа, дискредитировав себя, обернулся «чудовищем», проникшим в дом «под кровом адской ночи». Легче всего вообразить, что под личиной божества скрывался его негативный двойник, «Тот, ложно названный Денницей», — обманщик, *поддельный бог*, лишенный внутреннего света. «Отец лжи» заслоняет собой подлинного бога, на него бесплодно изливается людская вера. Не без оснований бургграф Фрейбургский уподобил Кунигунду — поддельную императорскую дочь, вероломную невесту — «пустой оболочке», которая «высилась на пьедестале, подобно олимпийской богине, и отвлекала нас и нам подобных от христианского храма» (с. 278).

Показательно также и стремление низвести прежнего кумира в языческий, сиречь низменный, регистр пантеона, чему часто сопутствует *анимализация* обидчика. Его *еще* обожествляют по привычке, но в образе животного — не-антропоморфного — тотема: обманутому почитателю он видится оленем (Пентесилея об Ахилле), сукой, лисицей (комендант о дочери), собакой (Бабекан о европейцах), змеей (Руперт о Сильвестре). Силу и харизму дискредитированного божка теперь объясняют не духовным превосходством, а исключительно животной витальностью и плодовитостью. Отсюда частое сравнение развенчиваемых идолов с животными *массаами*, будь то «рой насекомых», «змеиный выводок», болотные рептилии, стая «европейских собак». Перед собою мститель видит не изолированного человека, а скорее плодовитую и живучую массу — буйно разрастающийся «лес», из «стволов и стеблей» которого текут ядовитые «соки, водопадами заливая всю землю» (с. 256) (его олицетворяет, по мнению Теобальда, граф фом Штраль). Совершить насилие легче, если ты целишься не в индивида, а в одного из «них», в многоглавую гидру, в «гнездо» (Nest) — змеиное (Руперт в «Шроффенштейнах»), разбойничье (Херзе в «Кольхаасе»), «драконье» (кузнец в «Битве Арминия»). Следуя этой логике, Арминий отказывается различать преступных и добродетельных римлян (вроде Септимия): для германцев все они выкормыши «драконьего гнезда», все мазаны одним миром, также как для Гоанго и Бабекан все белые — клятвопреступники, «европейские собаки». И Руперт не случайно клянется мстить *всему* «дому Сильвестра», всему роду, в котором «деревья / Посажены вплотную чересчур / И обивают ветки друг о друга» [Там же: 132]. Как показывает Клейст, разъяренного мстителя не смущают метонимические подмены: брат отвечает за брата, сосед за соседа. Кольхаас, едва захватив замок, в отсутствие юнкера разможил голову его брату, Гансу фон Тронка, вместо Хосефы жители Сантьяго дубиной забивают насмерть донну Констанцу, маленький Хуан гибнет из-за сходства с Филиппом.

Манифестации стихийного насилия

Сами насильственные акты, которыми изобилуют повести и драмы Клейста, с прагматической точки зрения могут показаться избыточными. Разумеется, у критиков и читателей возникает соблазн истолковать «брутальность» клейстовского мира психопатически — усмотрев здесь патологическую, нездоровую

тягу автора (будь то Клейст, Жерико, По, Гойя) к смакованию жестокостей. Именно так рассудил Гёте, выявивший у амбициозного коллеги симптомы хронической ипохондрии; в старости он уподобил Клейста «телу с прекрасными природными задатками, которое поразила неисцелимая болезнь» (см.: [Grathoff 1988: 209—210]). Справедливо ли будет, впрочем, порицать романтическую (а также готическую, маньеристскую, барочную) манеру за избыточность, применяя к ним классицистический растр? В нашем случае мера насилия определяется не внешним конфликтом и не объемом компенсации за ущерб. Соответственно, цель стихийной агрессии состоит не в том, чтобы устранить или нейтрализовать, вплоть до убийства, ситуативного противника, или же нанести вредителю ущерб, равноценный собственным потерям, следуя логике талиона. Иначе говоря, стихийные взрывы, описанные Клейстом, не позволяют разрешить классический (античный, шекспировский и даже шиллеровский) конфликт интересов — отсюда их кажущаяся диспропорциональность и иррациональность. Если же мы трактуем их как символические акции, призванные остановить эрозию веры и кризис идентичности — тогда они представляются по-своему логичными и закономерными. Попробуем систематизировать формы стихийного насилия в прозе и драматургии Клейста, начав с наименее брутальных его манифестаций.

I. Самая безобидная из них — *отталкивание* — сродни пассивной реакции на угрозу, бегству («маркиза... с силой оттолкнула его в грудь, взбежала на крыльцо и скрылась... при его приближении загремел задвигаемый с взволнованной поспешностью засов», с. 536). Когда Рупрехт или Густав отталкивает ногой девушку, в которую прежде был влюблен, когда граф фом Штраль берет за хлыст, чтобы прогнать также небезразличную ему Кетхен, — они избегают соприкосновения с обесславленным, падшим ангелом, чей облик все еще способен внушать благоговение. По той же причине комендант избегает своей «падшей» дочери, захлопывает перед нею дверь, защищаясь, срывает со стены оружие, подобно графу фом Штраль, бранит ее бесстыдной сукой и хитрой лисицей (так же грубо, «беспутной девкой», обзывали Кетхен, Тони, Еву, Хосефу): иначе его, вопреки знанию и против воли, при виде маркизы охватил бы религиозный экстаз («А какой вид! какие глаза! чище глаз херувима!» (с. 538), — кричит он в истерическом припадке).

II. Нередко ярость *манифестирует* себя в акте низвержения. Обидчика сбивают с ног дубиной (так начинался суд Линча в «Землетрясении в Чили», так расправляются германцы с пленными римлянами, гаитянские рабы — с захваченными европейцами, подручные Руперта — с Иеронимом) или растаптывают — вспомним колесницу безумствующей Пентесилеи, готовой «обмолотить» «людскую жатву», «чтоб все погибло — стебли и зерно!» (с. 220) и первый акт возмездия в Кольхаасе («Кольхаас ворвался в замок, копытами коней растоптав сборщика пошлин и привратника, мирно беседовавших у ворот», с. 458; «Штернвальд с тремя расторопными конюхами хватили что ни попадя и бросали прямо под ноги своим лошадям», с. 459). Бунтовщики в буквальном смысле слова ниспровергают то, что привыкли чтить, они эмпирически оспаривают укоренившуюся в их сознании иерархию. Падение кумиров имеет назидательный и терапевтический эффект — на это указывал Фрейбург, собираясь развенчать Кунигунду: «Долой ее, в мусорную кучу, чем выше она красовалась — тем ниже падет, пусть все видят, что никакого божества в ней и не бывало» (с. 278).

III. Наибольший интерес и у читателей, и у критиков предсказуемо вызывают самые радикальные акты трансгрессии — *раздробление костей и расчленение плоти*; повторяемость подобных сцен породила домыслы о психическом нездоровье автора, одержимого насилием. В самом деле, разможенный череп, как давно заметили исследователи, стал «фирменным знаком» клейстовской прозы и драматургии — этот мотив скандализует читателя в финальных сценах «Найденыша», «Землетрясения в Чили» и «Обручения на Сан-Доминго», мелькает в «Кольхаасе» (конеторговец «преградил путь... юнкеру Гансу фон Тронка, швырнул его в угол, так что мозг брызнул на каменный пол», с. 459), предугадывается в разбитой голове судьи Адама, отзывается в вербальных угрозах Марты Руль «сокрушить кости» Еве или ее жениху, в воинственной риторике Теобальда, графа фом Штраль («В правом гневе / Я мог бы мозг твой растоптать!», с. 336) и Пентесилей. По-видимому, сокрушение костей и расчленение материи трактуется в этих случаях как *разоблачительный акт*: необходимо демонтировать миловидный каркас, разодрать респектабельную оболочку, дабы обнажилось неприглядное нутро (участь быть растерзанными грозит прежде всего обладателям привлекательной внешности — Николо, Ахиллу, Вендицию, Хосефе и Херонимо). Именно эту цель преследовал Теобальд, вызывая на поединок графа фом Штраль («Тебя рассек бы с головы до ног, / Как ядовитый гриб, растущий в поле, / Чтоб все в тебе увидели лжеца», там же), и Фрейбург, фактически угрожавший Кунигунде публичным расчленением («Я отвезу ее... к рейнграфу, а там только и сделаю, что сниму с нее шейный платок. Вот и вся моя месть!», с. 278). Без повязки обольстительная Кунигунда, гарцующая в окружении рыцарей, «как Солнце среди планет», на глазах у зрителей превратилась бы в руину — кособокую старуху с накладными волосами и вставными зубами, затянутую в стальной корсет. В «Поединке» легкая царашина, нанесенная мечом, обнажает — в прямом и переносном смысле слова — внутренние язвы Якова Ротбарта, дурную, испорченную кровь блестящего аристократа, которая начинает разъедать телесные покровы. К слову, публичному разоблачению¹⁴ судьи Адама также предшествовали физические увечья — удар скобою по темени (то есть сокрушение костей) и порезы на теле. Сельский патриарх явился в суд, *уже* изуродованный Рупрехтом («Лицо в рубцах... Недостает куска щеки», с. 51) и без парика, символизирующего судебскую власть, а к финалу судебного заседания выходит наружу вся правда о его физических изъянах (больной живот, смрад, колченовость и раздвоенная стопа).

IV. В работах о «Кольхаасе» подчас теряется из виду ближайшая задача его бунта — не убить, не ранить, не разорить и даже не засудить юнкера, но добиться того, чтобы Венцель *самолично* откармливал лошадей в конюшнях Кольхаасенбрюкке. Именно эту иррациональную, унижительную кару приветствовал конюх Херзе, подкинув шапку в воздух: «тут-то уж юнкер научится коней скребницей чистить» (с. 458). Мотив внешнего *загрязнения* играет

14 Важность разоблачительной интенции впоследствии акцентировала в своей классической работе о насилии Ханна Арендт: «...если рассмотреть исторически причины, по которым *engagés* [вовлеченные] превращаются в *engagés* [разъяренных], то на первом месте будет стоять не несправедливость, а лицемерие. <...> Сорвать лицемерную маску с лица врага, разоблачить и его, и те коварные махинации и манипуляции, которые позволяют ему править без применения насильственных средств... эти мотивы до сих пор остаются сильнейшими в нынешнем насилии в университетах и на улицах» [Арендт 2014: 76].

ключевую роль при возврате лошадей — они побывали в руках живодера, и раздраженная толпа фактически требует от Кунца фон Тронка, чтобы тот лично, без посредства слуг, переступил через навозную жижу и коснулся «нечистых» кляч. Этот ряд легко можно продолжить, вспомнив, как мстительная рабыня заразила плантатора желтой лихорадкой в «Обручении на Сан-Доминго», как старый купец Пиаки осквернил труп своего приемного сына, набив ему рот бумагой, как силвестровы слуги прибили к воротам, «меж чучелами сов», голову Адельберна, как Пентесилея ужаснулась виду поверженного Ахилла: «Я спрашиваю, кем убит убитый... Чьей рукой / Герой и полубог обезображен / Так, что из-за него уже не спорят / Жизнь и гниенье» (с. 241). Кажется, что мстителю принципиально важно было *замарать, смешать с грязью* то, что хранило отблеск благородства и чистоты.

V. В этом смысле есть определенное сходство между разъятием, поруганием и *сожжением* тела. С одной стороны, пламя уничтожает жизнь без остатка, без надежды на восстановление или воспроизводство. Поджигатели борются с массой, с многоликим и плодовитым чудовищем. Так, крестовый поход Кольхааса, начатый поджогом замка и городов, в конечном итоге вычеркивает из истории не одного лишь саксонского курфюрста, а всю правящую династию Саксонии, гнилую ветвь, которой противопоставлены «жизнерадостные и здоровые потомки» конеторговца (с. 514). В «Обручении на Сан-Доминго» взбунтовавшийся негр Гоанго, застрелив хозяина, «поджег дом, где укрылась жена убитого со своими тремя детьми... опустошил всю плантацию, на которую наследники, проживавшие в Португалии, могли предъявить свои права», и «сровнял с землю все постройки поместья» (с. 563): как видим, огненная стихия уничтожает и наследников, и предмет, и механизм наследования. С другой стороны, в пламени вместе с жизнью ликвидируется — обращается в прах — материя и форма. Показательно, что жители Сантьяго выражали недовольство решением вице-короля заменить аутодафе — плахой: им хотелось бы стереть с лица земли (или смешать с землей) самый облик Хосефы, поддельной Марии, своим «непорочным» зачатием осквернившей праздник *тела* Христова. Впоследствии в церкви огонь «пламенного благочестия» (с. 558) настигнет Хосефу и обернется актом линчевания. Иначе говоря, сожжение, расчленение и поругание тела имеют общий знаменатель — они целятся в обличье, памятное и харизматичное, и стирают его с лица земли.

Разумеется, различные формы стихийного насилия не исключают, а дополняют друг друга. Самым тесным образом они переплетаются в хрестоматийной истории Михаэля Кольхааса. Его бунт сопровождался, как мы знаем, *поджогами* замка и городов, *низвержением* (падением наземь) прислужников и родственников юнкера, а также и курфюрста саксонского (при последней встрече с Кольхаасом тот «в судорогах упал на землю», с. 513), *сокрушением костей* (Ганса и Кунца фон Тронка), попытками *замарать* обидчиков («швырнуть в грязь разжиревшего холопа» (с. 444), заставить юнкера чистить коней в хлеву, столкнуть камергера в навозную жижу), насильственным *исторжением* юнкера из Виттенберга и его публичным *разоблачением* — Венцель покидает город полуодетым, «грудь нараспашку», шлем «несколько раз слетал у него с головы» (с. 464) (как парик судьи Адама); с его родича Кунца фон Тронка горожане срывают «плащ, воротник и шлем», вышибают из рук шпагу — то есть лишают знаков рыцарского достоинства; наконец, бунт *обнажает* душевные изъяны курфюрста и юнкера, которые отображаются в телесных недугах:

Венцель, страдающий от «опасного рожистого воспаления на ноге» (с. 478), заставляет вспомнить и Ротбарта с его гангреной, и колченогого судью Адама. Весь этот разрушительный поток устремлен к единой цели: стихийные акты насилия должны подорвать гипнотическую власть прежних кумиров, разбить их талисманы, внушавшие пиетет, — харизматичную внешность, величавость, физическую чистоту и здоровье. Чтобы расстаться с запятнавшим себя кумиром, необходимо его нейтрализовать, а точнее, подвергнуть десакрализации.

Плоды гнева. Pro et contra

В критике не раз отмечалась хроникальная бесстрастность, с которой Клейст воспроизводит (правильнее будет сказать — регистрирует) акты стихийного насилия. Действительно, идя вразрез с просветительской традицией, он воздерживается от оценок; попытка выявить эксплицитно выраженную авторскую позицию у Клейста — дело неблагоприятное, поскольку он играет с фокализацией, и редкие оценочные суждения в его повестях на поверку, как правило, оказываются «чужой» речью. По крайней мере, он не осуждает насильственные эксцессы с моральных (или эстетических) позиций — ибо бессмысленно возмущаться защитной реакцией — притом естественной, едва ли не автоматической¹⁵. С другой стороны, ему не была свойственна героизация (и сопутствующая ей эстетизация) стихийного насилия, к которой тяготели штюрмеры и впоследствии некоторые модернисты. В «Кольхаасе», «Землетрясении в Чили» и «Пентесилее» Клейст не скрывает его физиологическую, грубую природу. Столь взвешенный, дифференцированный подход позволяет читателю оценить как плоды, так и издержки стихийного насилия.

Прежде всего, благодаря насилию — и даже готовности к нему — оперативно восстанавливается пошатнувшаяся, временно раздвоившаяся система координат¹⁶. Нет больше нужды кардинально перестраивать картину мира, поскольку неразрешимое противоречие оказалось мороком, следствием рецептивной ошибки. В тот миг, когда Кольхаас избирает путь вооруженной борьбы, его душа, преодолев грозивший ей раскол, успокаивается: «И тут сквозь боль за чудовищные неполадки мира пробилась внутренняя удовлетворенность тем, что собственное его сердце отныне в полном ладу с его совестью» (с. 452). Сбросив груз сомнений, мститель преисполняется деятельной силы — вспомним негра Гоанго, который «словно бы помолодел» в ходе партизанской войны с плантаторами, или Пентесилею, которая «в ярости свалила с ног» трех амазонок, попытавшихся удержать ее от поединка с Ахиллом. Как уже говорилось, путь насилия соблазняет клейстовских героев своей *краткостью и простотой*¹⁷ — в этом смысле с ним не может соперничать торный путь по-

15 Вообще у Клейста агрессия изображается по преимуществу как непроизвольный, безотчетный акт. К такому выводу приходит, в частности, Д. Бурдорф, см.: [Burdorf 1998: 222–226].

16 Как отмечает в этой связи Дж.Б. Лайон, «агрессия у Клейста становится способом обеспечить хотя бы временную стабильность и иллюзию целостности» [Lyон 2006: 142].

17 Ханна Арендт справедливо определяет насилие как «действие без предварительного разбирательства, без слов и без учета последствий»: прибегать к нему «крайне соблазнительно из-за непосредственности и быстроты, внутренне присущих насилию» [Арендт 2014: 34].

знания, предложенный эксцентричным господином Ц. в «Театре марионеток». Однако единственной альтернативой познанию, по мысли Клейста, является его имитация — *самовнушение*. Святой не может быть святотатцем, следовательно, кощунственное деяние нам привиделось (это первый рубеж самообороны, на котором некоторое время удерживаются родители маркизы д'О, мать и сестры Фридриха фон Тротты, Алкмена, Кольхаас, Сильвестр Шроффенштейн, дружинники Гискара). Когда же акт святотатства установлен непреложно — тогда обеспокоенные герои Клейста физически исторгают «кощунственное» из сферы «сакрального». Изолированный, низвергнутый, обнаженный, растерзанный, грязный, больной кумир безусловно является земным творением, но не божеством — так же, как крошка Цахес, у которого вырвали золотые волоски, перестает быть великим государственным мужем, министром Циннобером. Иначе говоря, путем насилия «эмпирическое» сообразуют с «должным», двойственное превращают в цельное и непротиворечивое. По сути своей это иррациональный, *тавтологический* акт: агрессор правит саму физическую «реальность» согласно своим предубеждениям¹⁸ и, следовательно, инвертирует познавательный процесс. В результате стираются внешние приметы раскола, но не отменяются его предпосылки.

Еще одним существенным изъяном силовых решений — как стихийных, так и институциональных — будет их негативный *modus operandi*. Следуя логике Клейста, стихийные вспышки насилия восстанавливают единство и «самость» ценою *рестрикции и регресса* (то есть упрощения структур)¹⁹. Вместо того чтобы интегрировать двойственный феномен в более общую структуру, нападающий спешит расторгнуть всяческую связь с зараженной материей. Клейст одним из первых заметил, что слепая ярость (*Raserei*) не всегда различает осквернителя и его жертву — для нее нестерпима любая двусмысленность. Часто первая волна насилия обрушивается на обесславленную праведницу — маркизу д'О, Еву, Литтегарду, несчастную Халли, обесчещенную римскими солдатами, которую убивают ее собственные братья и отец (как мы знаем, в консервативно-патриархальном социуме до сих пор принято винить жертву в том, что она «допустила» надругательство). Клейст никогда не отрицал центростремительной силы гнева, его мобилизационного запала, но высвечивал также и обратную сторону единения-по-злобе — *поляризацию сознания, исторгающего все двойственное и промежуточное*. Чтобы дистиллировать «свое», приходится выделить и стигматизировать «чужое»²⁰. Говоря словами Амфитриона, «один из нас — чист, честен, безупречен, / Другой — яд, лезть,

18 Механику самообмана Ш. Аллан описывает следующим образом: «Насилие — это прямое следствие попыток протагонистов подогнать (to fit) эмпирическое восприятие мира под некие “трансцендентные” шаблоны своих искаженных представлений, вкупе с готовностью сокрушить все, что могло бы пошатнуть (call into question) названные представления» [Allan 2011: 58].

19 На регрессивный характер насилия обратил внимание Э. Стивенс, анализируя «Кэтхен» и «Пентесилею»: граф фон Штраль и Пентесилея устраняют (а точнее сказать — маскируют) внутренний раскол насильственным действием — примитивным, цельным и традиционным [Stephens 1988: 20, 33]. О том же пишет Б. Грайнер: перед лицом парадокса «обрести необходимую целостность [клеястовским героям] если и удастся, то лишь ценою радикального сужения перспективы» [Greiner 2008: 48].

20 О размежевании с искусственно созданным «врагом» как (характерном для героев Клейста — например, Руперта, Армения) архаическом способе самоидентификации см.: [Goenner 1989: 176].

убийство и обман» [Клейст 1977: 267]. Даже миролюбец Оттокар ненадолго соблазнился простотой рестриктивного мышления: ведь утешительно думать, что враг «заключен / Как яд в коробке, полно, в слове: Варванд» [Там же: 33]²¹. Без внимания остались связи, переключки между здоровым, своим, и извращенным, чужим: забывается, что Россиц и Варванд — ветви одного генеалогического древа²², что Юпитер — это «потенцированный» Амфитрион. В этих условиях закономерна трагическая участь посредников — Иеронима, на правах друга гостившего и в Варванде, и в Россице, или метиски Тони, которая внушала Густаву «смешанные чувства желания и боязни» (с. 577)²³, или добросердечной донны Констанцы, явившейся в собор вместе с Хосефой и Херонимо, или расположенного к германцам римлянина Септимия и романизованного германца Аристана²⁴. Их ликвидируют, поскольку им не находится места в поляризованной, напоенной гневом картине мира.

Если эволюционный путь развития подразумевал движение от монотонии через дисгармонию к сложной гармонии (так мыслили его Баадер и Новалис, Шеллинг и Клейст в «Театре марионеток»), то насильственные взрывы обращают это течение вспять. Как уже говорилось, стихийная ярость кладет конец дисгармонической фазе, но достигает этого не усложнением, а *упрощением связей и структур*. Происходит деволуция, регресс, возврат к *монотонии*. Так, распаленные гневом мстители, анимализируя своих обидчиков, сами возвращаются в животное состояние: Пентесилея гонится за Ахиллом как «голодная волчица», «пантера», «ослепшая от ярости гиена» (с. 142), фанатичные линчеватели в Сантьяго названы «кровожадными псами» (с. 561), Туснельда сама признает, что Септимий своим вероломством «превратил [ее] в медведицу», о том же твердят Рупрехт («изменилось все / И мы с зверьми природой поменялись» [Там же: 30]) и Кольхаас («Если топчут тебя ногами, лучше быть псом, нежели человеком!», с. 455). Сложные социальные связи заменило типологическое — в предельном случае кровное — родство или братство: весьма характерно, что в патриотическом угаре германские вожди Фуст и Гвелтар, подобно волкам, готовы были вылизать кровь раненому Арминию. Платой за сплочение родственников и единоверцев служит отказ от диалектики: мир разделен теперь на «своих» и «чужих», мотивация действий сводится к базовым инстинктам — размножить и защитить свое племя, поглотить чужое. Именно этого в конечном итоге добился Кольхаас: перед казнью он в буквальном смысле слова проглотил охранную грамоту, а вместе с ней — будущность саксонской династии, обеспечив процветание и преумножение своего имущества и рода — «раскормленных, лоснящихся» лошадей, «жизнерадостных и здоровых потомков» (с. 513). Дальше всех в регрессивном движении заходит Пентесилея, породнившаяся с «чужим» по крови и вере Ахиллом на манер каннибалов, путем физической инкорпорации. От символических, условных

21 Ср.: [Thorwart 2004: 208].

22 Восприятие «своих» как «чужих», по мнению Л. Джонсон, является ключевой и фатальной ошибкой старших Шроффенштейнов [Johnson 2002: 130].

23 Именно двойственность Тони — чистосердечной притворщицы, светлокожей негрятки — возбуждает агрессию и ставит девушку под удар, пишет в этой связи Э. Льюис [Lewis 2000: 221].

24 Г. Нойман справедливо заметил, что в «Битве Арминия» «приговариваются к уничтожению» все «неоднозначные элементы, которые угрожают гомогенности» германского государства и нации» [Neumann 2006: 151].

ритуалов единения («поцелуи») она вернулась к животному присвоению²⁵ («укусы»): для нее «лобзать» «рифмуется» с «терзать» («Kuesse, Bisse, das reimt sich» [Kleist 2022: 151]).

То, что Клейст отказывался осуждать стихийное насилие с моральных позиций, еще не делает его экстатическим певцом «варварства». Как мы уже убедились, насильственный — упрощенческий, регрессивный — сценарий не устраивал его своей тавтологической пустотой: это путь бегства, вытесняющий из сознания парадоксы, которые требуют внутренней перестройки²⁶. И все же на фоне философов и литераторов эпохи Просвещения Клейст смотрится скорее критиком, чем апологетом гуманизма. Ему, как и многим романтикам, был чужд безоглядный антропо- и логоцентризм классической культуры, поэтому Клейста не могло обескуражить временное «расчеловечивание» индивида и общества. Больше того: он не считал стихийное насилие абсолютным злом, или, говоря прагматически, видел в нем не только деструктивный и бесплодный выброс энергии. Всякое движение к «самости», даже форсированное и регрессивное, производит, по мысли Клейста, определенный позитивный эффект (поэтому — а не только в связи с франкофобскими памфлетами — его канонизировали впоследствии нацисты). Дело в том, что стихийный взрыв сметает не только укоренившиеся нормы и законы, но и вековые завалы опосредований, которые, собственно, и спровоцировали возмущение. После взрыва наступает «момент истины» — агрессор лицом к лицу сталкивается с эмпирическим фактом, с физической реальностью: эта реальность не требует интерпретации, она порождает непосредственный, автоматический отклик. (Мы говорим о стихийном — не институциональном — насилии: в последнем Клейст, в отличие от инквизиторов или нацистских идеологов, не находил никаких достоинств. По признанию Руперта Шроффенштейна, «не совершил бы сотой доли зла / Властитель, если б должен был своими / Руками совершать его» [Клейст 1977: 125].) Кажется, что не мораль, а сама (человеческая) природа ставит предел импульсивному насилию — это доказывают обмороки Туснельды, Пентесилеи, Густава, истерические припадки Руперта Шроффенштейна и полковника, отца маркизы д'О, и даже успокоение толпы после убийства маленького Хуана («настала тишина, и все разошлись», с. 561). Одно дело — принарядившись наблюдать с балкона или с крыши за казнью государственной преступницы и совсем другое — примкнуть к линчующей толпе и увидеть прямо перед собою младенца «лежащим на земле с раздробленным черепом» (там же)²⁷. Одно дело — следуя древнему закону, скрыть насилие над пленни-

25 На регрессивность, архаичность действий Пентесилеи обращает внимание Б. Грайнер: вместо того чтобы перевести «миф» в игру, как предлагал Ахилл, она возвращается к его стихийному истоку — мужеубийству, из которого выросло государство амазонок [Greiner 2006: 134–136].

26 Трудно не согласиться с выводом М. Бергер о том, что герои Клейста «преодолевают внутренние противоречия и смятение, как правило, посредством расщепления и отрицания [парадоксов]» [Berger 2008: 271].

27 Это различие играет существенную роль в теории Конрада Лоренца: «...утонченная техника убийства, — пишет он, — привела к тому, что последствия деяния уже не тревожат того, кто его совершил. Расстояние, на котором действует все огнестрельное оружие, спасает убийцу от раздражающей ситуации, которая в другом случае оказалась бы в чувствительной близости от него, во всей ужасной отвратительности последствий. <...> Ни один психически нормальный человек не пошел бы даже на охоту, если бы ему приходилось убивать дичь зубами и ногтями» [Лоренц 1994: 114].

ками за идиллическими декорациями праздника Роз, и совсем другое — собственноручно истязать покоренного жениха. Стихийные возмущения обнажают человеческую природу — они, во-первых, *демонстрируют ее пределы* и, во-вторых, *вскрывают глубинные связи*, погребенные под толщей знаний, привычных ритуалов, предрассудков. Над трупом Оттокара его отец Руперт Шроффенштейн на собственном опыте убеждается в единой судьбе Варванда и Россица («Сильвестр. Я сам бездетен! — Ах, Сильвестр!» [Там же: 176]), убийство Халли, а также Вара и Аристана выявляет общую этническую закваску германских князей, прежде едва заметную за имущественными спорами. Пережитое маркизой д'О насилие в конечном итоге соединило ее с родителями и женихом тесными эмоциональными узами, а варварский суд Линча невольно дал жизнь новой, объединенной общим страданием, семье — только этим можно оправдать «радость» донна Фернандо в финале новеллы. По всей видимости, на руинах прежней веры из крови и страданий рождается обновленная, более живая и действенная религия. Не случайно самые радикальные насильственные акты — убийства в «Битве Арминия», в «Пентесилее», в «Шроффенштейнах», а также и в «Землетрясении в Чили» — инсценированы как *жертвоприношения*²⁸: они дают возможность основать новый культ и, если следовать классификации Вальтера Беньямина, имеют *учреждающий* характер.

Клейст и антропология насилия

Насколько продуктивными оказались идеи Клейста в исторической перспективе и как соотносятся его представления о насилии с академическими теориями XX века? Поскольку вопросы эти требуют отдельного рассмотрения, я ограничусь кратким, не претендующим на полноту обзором. В отличие от Фрейда и Лоренца, Клейст, по-видимому, не считал человеческую агрессию инстинктом, который в отсутствии специальных нейтрализующих мер — переклечения или сублимации — будет неизбежно принимать разрушительные формы. По крайней мере, человеку требуется немало усилий, чтобы разжечь в себе гнев и поддерживать его пламя — как показывает пример Руперта Шроффенштейна, родителей маркизы д'О, Тони, рыцаря фом Штраль. Без катастрофической предыстории (случай Бабекан, Пентесилеи, а также и Руперта) и без внешнего подстрекательства (подробно описанного в «Битве Арминия» и «Землетрясении в Чили») гнев угасает. Поэтому было бы несправедливо обвинять Клейста — при всей его беспощадной честности — в антропологическом пессимизме: он не утверждал, что человек, на время освободившийся от гнета социальных конвенций, от давления супер-эго, неизбежно озверевает (вспомним, каким амбивалентным было поведение жителей Сантьяго после обрушения репрессивных институтов). С социологическими теориями насилия Клейста сближает повышенный интерес к специфике межличностных связей, а

Характерно, что Клейст, по наблюдению Л. Йордана, «снимает дистанцию между агрессором и жертвой», что сообщает действию «атавистическую непосредственность»: жертву часто убивают голыми руками, а если и пользуются огнестрельным оружием, то стреляют в упор [Jordan 2006: 113–117].

28 Так интерпретируют насильственные сцены в «Землетрясении...», в «Маркизе д'О» и «Обручении на Сан-Доминго» Э. Стивенс и Э. Льюис (см.: [Lewis 2000: 199]).

также к коммуникативной ситуации. Он убедительно показал, что агрессия копится на фоне сложных, опосредованных отношений и коммуникативных сбоев (в этом пункте он предвосхищает фрустрационные теории, трактовавшие насилие как попытку прорваться — сквозь накопившиеся помехи и неудачи — к желанной цели). Вместе с тем вопросы социальной адаптации, столь значимые для Адлера, а впоследствии — для Бандуры и Пиаже, не служат в глазах Клейста первопричиной и даже катализатором стихийных взрывов. Мы не встречаем в его произведениях *классических* честолюбцев вроде Ричарда III, Яго, Эдмунда Глостера или Франца Моора, чью агрессию подогревает их собственный комплекс неполноценности. Социальное одобрение жестокости также играет у Клейста второстепенную роль — и не позволяет объяснить контраст между «миролюбивыми» и «воинственными» натурами, сформировавшимися в одной среде (Сильвестр/Руперт, Протоя/Пентесилея, Ева/Марта Руть). По мысли Клейста, стихийное насилие регулирует в первую очередь не социальные, а *религиозные* отношения. В основе его лежат не тяготы социализации, а кризис (само)идентификации. Вспышку гнева Клейст трактует как защитную реакцию на святотатство, как отчаянную попытку остановить назревающую эрозию веры, которая в конечном итоге угрожает «самости». С тактической точки зрения, агрессор хочет лишь одного — окончательно разочароваться в недостойном, запятнанном божестве: для этого он стигматизирует и увечит прежнего идола. Сходные идеи будет разрабатывать полтора века спустя французская (пост)феноменология: Батай, Жирар, Бодрийяр также указывали на религиозную подоплеку насилия, которое позволяет конденсировать «скверну» в фигуре «козла отпущения», чтобы затем исторгнуть зараженное тело из общественного организма. В этом свете насильственный акт уподобляется жертвоприношению: на костях и крови старого, скомпрометированного идола бунтари учреждают новый культ и восстанавливают непосредственную связь с божеством. Не страшась стихийного гнева и не оправдывая его, Клейст напоминает читателю о самом главном — о детской потребности любить и о том, как дорого стоит обманутое доверие.

Библиография / References

- [Арендт 2014] — *Арендт Х.* О насилии / Пер. с англ. Г. Дашевского. М.: Новое издательство, 2014.
- (*Arendt H.* On Violence. Moscow, 2014. — In Russ.)
- [Клейст 1969] — *Клейст Г. фон.* Драмы. Новеллы / Пер. с нем. М.: Художественная литература, 1969.
- (*Kleist H. von.* Dramy. Novelly. Moscow, 1969.)
- [Клейст 1977] — *Клейст Г. фон.* Избранное. Драмы. Новеллы / Пер. с нем. М.: Художественная литература, 1977.
- (*Kleist H. von.* Izbrannoe. Dramy. Novelly. Moscow, 1977.)
- [Лоренц 1994] — *Лоренц К.* Агрессия (так называемое «зло») / Пер. с нем. М.: Прогресс; Универс, 1994.
- (*Lorenz K.* Das sogenannte Böse. Zur Naturgeschichte der Aggression. Moscow, 1994. — In Russ.)
- [Allan 2011] — *Allan S.* „So glaubst du jetzt, daß ich dir Wahrheit gab?“ Gender, power and the performance of justice in Kleist’s *Der zerbrochne Krug* // *Heinrich Von Kleist and Modernity* / Ed. by B. Fischer, N.J. Mehigan. Rochester; New York: Camden House, 2011. P. 55—70.

- [Berger 2008] — *Berger M.* Zu den Ohnmachtszennarien Kleist'scher Protagonisten // Heinrich von Kleist / Hrsg. O. Gutjahr. Wuerzburg: Koenigshausen & Neumann, 2008. S. 249—279.
- [Breuer 2013] — Kleist-Handbuch: Leben — Werk — Wirkung / Hrsg. I. Breuer. Stuttgart, Weimar: J.B. Metzler, 2013.
- [Brors 2002] — *Brors C.* Anspruch und Abbruch. Untersuchungen zu Heinrich von Kleists Ästhetik des Rätselhaften. Wuerzburg: Koenigshausen & Neumann, 2002.
- [Burdorf 1998] — *Burdorf D.* Natur und Gewalt in Erzählungen Heinrich von Kleists // Natur, Kunst, Freiheit: deutsche Klassik & Romantik aus gegenwärtiger Sicht / Hrsg. M.J. Siemek. Amsterdam; Atlanta, GA: Rodopi, 1998. S. 221—246.
- [Goenner 1989] — *Goenner G.* Von „zerspaltenen Herzen“ und der „gebrechlichen Einrichtung der Welt“. Versuch einer Phaenomenologie der Gewalt bei Kleist. Stuttgart: J.B. Metzler, 1989.
- [Goethe 1889] — Goethes Gespräche: In 10 Bd. Bd. 2: 1805—1810 / Hrsg. W.F. von Biedermann. Leipzig: Biedermann, 1889.
- [Grathoff 1988] — *Grathoff D.* Die Zeichen der Marquise: Das Schweigen, die Sprache und die Schriften // Heinrich von Kleist: Studien zu Werk und Wirkung / Hrsg. D. Grathoff. Opladen: Westdeutscher Verlag, 1988. S. 204—229.
- [Greiner 2006] — *Greiner B.* „Nehmt eine Keule doppelten Gewichts, / Und schlagt ihn tot!“ Kleists Herauswinden des Todes aus der Denkfigur des Tragischen // Sterben und Tod bei Heinrich von Kleist und in seinem historischen Kontext / Hrsg. D. von Engelhardt, J.C. Joerden, L. Jordan. Wuerzburg: Koenigshausen & Neumann, 2006. S. 125—138.
- [Greiner 2008] — *Greiner B.* „Die Möglichkeit einer dramatischen Motivierung denken können“. Kleists Paradoxe und Versuche ihrer Motivierung, mit einem Exkurs zur *Familie Schroffenstein* // Heinrich von Kleist / Hrsg. O. Gutjahr. Wuerzburg: Koenigshausen & Neumann, 2008. S. 39—66.
- [Johnson 2002] — *Johnson L.* Psychic, Corporeal and Temporal Displacement in Die Familie Schroffenstein // Kleists Erzaehlungen und Dramen. Neue Studien / Hrsg. C. Luetzeler, D. Pan. Wuerzburg: Koenigshausen & Neumann, 2002. S. 121—134.
- [Jordan 2006] — *Jordan L.* Todesarten im Werk Heinrich von Kleists // Sterben und Tod bei Heinrich von Kleist und in seinem historischen Kontext / Hrsg. D. von Engelhardt, J.C. Joerden, L. Jordan. Wuerzburg: Koenigshausen & Neumann, 2006. S. 101—124.
- [Heitmeyer, Hagan 2002] — Internationales Handbuch der Gewaltforschung / Hrsg. W. Heitmeyer, J. Hagan. Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften, 2002.
- [Kim 2013] — *Kim H.J.* Identität // Kleist-Handbuch: Leben — Werk — Wirkung / Hrsg. I. Breuer. Stuttgart, Weimar: J.B. Metzler, 2013. S. 333—338.
- [Kleist 2022] — *Kleist H.v.* Penthesilea. Hamburg: Groels Verlag, 2022.
- [Krueger-Fuerhoff 2001] — *Krueger-Fuerhoff I.M.* Der versehrte Körper. Revisionen des klassizistischen Schönheitsideals. Goettingen: Wallstein Verlag, 2001.
- [Lewis 2000] — *Lewis A.* Der Zwang zum Genießen. Männliche Gewalt und der weibliche Körper in drei Prosatexten Kleists // Kleist-Jahrbuch 2000 / Hrsg. G. Blamberger, S. Doering, K. Müller-Salget. Stuttgart; Weimar: Verlag J.B. Metzler, 2000. S. 198—224.
- [Lyon 2006] — *Lyon J.B.* Crafting Flesh, Crafting the Self: Violence And Identity in Early Nineteenth-Century German Literature. Cranbury, US: Bucknell University Press, 2006.
- [Müller-Seidel 1985] — *Müller-Seidel W.* Todesarten und Todesstrafen: Eine Betrachtung über Heinrich von Kleist // Kleist-Jahrbuch 1985 / Hrsg. H.J. Kreutzer. Berlin: Erich Schmidt Verlag, 1985. S. 7—38.
- [Neumann 2006] — *Neumann M.* „Und Sehn, Ob Uns der Zufall Etwas Beut“. Kleists Kasuistik der Ermächtigung im Drama „Die Hermannschlacht“ // Kleist-Jahrbuch 2006 / Hrsg. G. Blamberger, I. Breuer, S. Doering, K. Müller-Salget. Stuttgart; Weimar: Verlag J.B. Metzler, 2006. S. 137—156.
- [Niekerk 2002] — *Niekerk C.* Men in Pain: Disease and Displacement in “Der Findling” // Kleists Erzaehlungen und Dramen. Neue Studien / Hrsg. C. Luetzeler, D. Pan. Wuerzburg: Koenigshausen & Neumann, 2002. S. 107—120.
- [Soboczynski 2000] — *Soboczynski A.* Die Impotenz des Händlers und das Geheimnis einer trefflichen Frau. Ökonomie und Verstellungen in Kleists Novelle „Der Findling“ // Kleist-Jahrbuch 2000 / Hrsg. G. Blamberger, S. Doering, K. Müller-Salget. Stuttgart; Weimar: Verlag J.B. Metzler, 2000. S. 118—135.
- [Stephens 1988] — *Stephens A.* „Das nenn ich menschlich nicht verfahren.“ Skizze zu einer Theorie der Grausamkeit im Hinblick auf Kleist // Heinrich von Kleist: Studien zu Werk und Wirkung / Hrsg. D. Grathoff. Opladen: Westdeutscher Verlag, 1988. S. 10—39.
- [Thorwart 2004] — *Thorwart W.* Heinrich von Kleists Kritik der gesellschaftlichen Ordnungsprinzipien. Wuerzburg: Koenigshausen & Neumann, 2002.
- [Thurner 2007] — *Thurner Ch.* „— Ei so wollt ich, daß ihr der Gürtel platzt!“ Körper-Beherrschung und Kontroll-Verlust in Kleists Dramen // Kleist-Jahrbuch 2007 / Hrsg. G. Blamberger, G. Brandstetter, I. Breuer, S. Doering, K. Müller-Salget. Stuttgart; Weimar: Verlag J.B. Metzler, 2007. S. 195—203.